



тые, угадываемо многонациональные фамилии светопольцев по-гриновски «денационализированы», а топонимы по-сказочному перевернуты. Нет сообщества, которое было бы вправе носить имя народа, — есть отдельные люди, предпочтительнее — соседи: по бараку, на крайний случай по округе. Нет должностей, а пуще всего «ответственных»; нет профессий даже, к упомянутой «ответственности» (пусть потенциально) приближающихся. Все больше торговцы пивом, уборщицы, железнодорожные проводники, сварщики, столяры, парикмахеры; отнюдь не первый в городе адвокат Федулчица (повесть «Черная суббота») или далеко не главный режиссер местного драмтеатра Капсулов (повесть «Песчаная акация») — это уже «значительные личности», как насмешничает одна из героинь книги, бывшая «шлюха барачная», по несправедливо-ругательному определению вздорной соседки.

Жанна не шлюха, отнюдь. И Зинаида, и Рая Шептунова, и приятельница ее, самая подмоченная по части женской репутации, Ника. Несказанно удивилась я, прочтя в одной из недавних дискуссий реплику Киреева: как — еще давно — пытался он сказать в своих повестях о проституции. Удивилась и, да простит мне автор, не поверила. Это в «Интердевочке» речь о проституции, а здесь — о другом: о бараке.

Разумеется, барак не единственное место действия киреевской Светландии и обитатели барака не исключительно присутствующие в ней персонажи. Точки отсчета разметил сам автор: барачное «строение, длинное и приземистое, возведенное еще до войны, располагалось в двух кварталах от нашего двора, где-то на полпути к Петровской балке, дурная слава о которой шла по всему Светополю». Балка — забубенный светопольский ад; барак — веселое и буйное чистилище; а уж «наш двор», при всем том, что население его тоже выкручивается из послевоенной нужды, нося вещи на толкучку, — это уже подобие благоприличного рая. Центр же — городской эмпирей, куда дано будет перенестись из балок, барачных и тесных дворов немногим, да и во времена куда более поздние.

Барак — свод коммунальных заветов, оплот жизнестойкости, неизменная оглядка «сорокалетних» киреевских героев. Так что все они в этом смысле дети барака.

Но где же тут история? Пусть, положим, не эпическая, «толстовская», а малая, «чеховская»? Не зря ведь Чехов — постоянный предмет киреевских интервью и эссе, «его» классик. Не только и не столько чеховский

стиль в том повинен, сколько чеховская «провинциальность», чеховский нешумный резистанс против атаки «обстоятельств», чеховская хрупко-исступленная «безопорная духовность» (беря эту формулу у Л. Аннинского, приложившего ее, правда, к «мальчикам 1950-х»).

Когда-то задавала я Кирееву «наивные» вопросы: а каковы его светопольцы на работе? (Информативно об этом по ходу сюжета сообщается; эмоционально — пробел и проброс.) Или: а какие они были в школе? (Не только с неформальной, переметночно-дворовой стороны, но и со стороны формальной, официальной, поурочной — для поколения сорокалетних отнюдь не столь внешней, как для нынешних акселератов.) Или: а какие газеты они читали от годов 40-х до годов 80-х и как обсуждали их на лавочке? (Ведь это и Петровской балке не чуждо.)

Сейчас я тех вопросов уже не повторяю. Не произнесу и вывода, который вроде как бы сам напрашивается, — нет у Киреева истории. Быт есть, биографии есть: с ксерогазами и водоколками 40-х; со слиянием мужских и женских школ, с угасающим «бананово-лимонным Сингапуром» и надвигающимся «Бесамэ мучо» 50-х; с современными «отцами», кому все-то хочется задержаться в рассерженных молодых, и «детьми», кто душой повзрослел в обгон своих предков и глядит на них как на стареньких юнцов...

Больше того. Еще раз вернусь к тому, что осталось за кадром киреевской хроники, но вошло в летопись реального «Светополя». Однако не для укоров автору уточню, а для читателя. Чтобы мог он увидеть, как из пробелов именно и слагается незримо властвующая в книгах Киреева история.

Одно из стихотворений польского поэта Циприана Норвида называется «А тем временем». Итак, пока торгуют, женятся, расходятся, усыновляют пасынков, играют на аккордеоне, а впрочем, и дают юридические консультации, и ставят в театре «Царя Федора Иоанновича» светопольцы вымышленные, вспомним, как жили тем временем «светопольцы» реальные.

А тем временем в первые же послевоенные годы исчезло в одночасье областное руководство с первым секретарем во главе, был он переведен из Ленинграда, — ликвидировались «последствия кузнецовщины». А тем временем на полях вокруг «Светополя» сажали лимоны, зимой они сплошь вымерзали, весной высаживались заново (с той же неумолимой энергией внедря-

ся и хлопок). А тем временем реальные «светопольцы» с энтузиазмом рыли каждое воскресенье котлован под водохранилище (то самое, киреевское). Водохранилище должно было решить проблему питьевой воды, покончить с очередями к уличным водоклонкам (тем самым, киреевским). Построить его построили, но воды продолжало не хватать, а для купанья «море» было вскорости закрыто по распоряжению санэпидстанции.

А тем временем ночная процессия шла к привокзальной площади, к памятнику Ленину и Сталину (сделан он был по хрестоматийной фотографии в Горках). Площадь высвечивали прожекторы, стояли колонны от предприятий, звучали клятвы, и лились слезы. Позже (опять ночью) одну из фигур с памятника убрали, а уже гораздо позже промелькнуло известие, что фотографии такой в действительности не существовало никогда.

А тем временем на танцплощадках появились девушки в брюках, брюки тут же резали ножницами (не только дружинники — публика тоже). Гостей хозяева с порога спрашивали: «Вы любите Евтушенко?» — и всякий ответ мог оказаться роковым. Школьники просачивались на запретного для них «Фанфана-Тюльпана» и шепотом его пересказывали. (Смотрела недавно этот фильм в ретропрограмме — детская трогательная сказка.) А когда Неру — первый государственный визит из Индии! — подплыл на правительственной катере к Алуште, с берега его приветствовала тысячная толпа, самозабвенно распевая «Бродяга я...».

А попозже были еще совнархозы и «экономические процессы», были макароны по карточкам: белые — для сотрудников со стажем, серые — для тех, кто без него. И была до сих пор неуывающая областная легенда: первый секретарь 70-х Н. К. Кириченко, трудяга и хозяин, с одной неистовой мечтой — накормить, наконец, область. Получил он за то серию взрывов, Героя Соцтруда и скоростижную смерть, едва перевалив за шестьдесят.

Много чего было тем временем или, точнее, теми временами. Отчего же не произошло оно, мною лишь отчасти перечисленное, из реального Светополя в киреевский? Цензура застойная воспротивилась? Да нет, подобное объяснение — только «сверху» — было бы слишком легким. Не погрешил, нет, не погрешил автор против истины, когда не дал своим светопольцам «языка истории». Потому что история есть, безусловно, нечто проживаемое и пережи-

ваемое, но язык она обретает лишь тогда, когда ее осмысляют.

Вот эту-то историю у Светополя и отнимали. Не в книгах — в жизни, провинциальной жизни от «периода культа» по «период застоя», историю отменяли. Отменяли поэтапно: принуждая забывать, вычеркивая из процесса осмысления по очередному куску: было, прошло, хватит об этом.

Помилуйте, разве такое выпадало на долю только провинции? Метрополии, столицам — республиканским или всесоюзной — легче, что ли, было?

Легче не было. Но вариантов было поболее. Запасов душевных про черный день успевало накопиться поосновательней. Прикинуть несложно: куда мог податься подчиненный, восставший против начальника-самодура (бюрократа, протекциониста и т. д.)? Куда — в центре и куда — в провинции? Каков был шанс пережить немилость культурчиновника у столичного живописца (писателя, режиссера и т. д.) и у его областного собрата? Чем оборачивалось изгнание студента из вуза («чтоб не умничал») в центре и чем — в глубинке? В метрополии рубили лес — в провинции даже подлесок.

Поэтому понятие «обстоятельств» такой чугушной тяжестью наливалось для провинциала. Обстоятельства сильнее нас; обстоятельства требуют... Тяжесть эту испытал на себе и автор светопольского цикла. Мало кому известно, что удачливый Киреев самую жесткую свою повесть, «Лестницу», написал еще в 1968 году. Лестница вела на барачный чердак, где тринадцатилетнюю Раю Шептунову растлевают Кожух, склизкий тип с жирными волосами. А Рая ползет туда на ощупь, в темноту и паутину, потому что ей, барачной девочке начала 50-х, так хочется научиться играть на баяне, которым владеет Кожух.

Повесть мыкалась по инстанциям пятнадцать лет; ее плющили издательско-рецензионными бульдозерами; потом она все же вышла, но с ее автором кое-что успело произойти. Он стал «не таким, как все»: без вины виноватым, незащищенным человеком без тени, подобно Петеру Шлемилю у Шамиссо. И это ощущение «не такого», за беду свою как бы просящего прощения, потянется по всем повестям Киреева.

Два вопроса. Беда или все-таки вина движет полувезучими, полуневезучими киреевскими светопольцами с их полусостоявшимися полусудьбами? Где их собственный Главный Поступок — крутой и крупный, жизнь переворачивающий, молнией истории свершителя своего освещающий? Ведь

(второй вопрос) знаем же мы полустанки Айтматова, хутора Быкова, деревеньки Распутина — они ли не глубинка, не глухоманная провинция? А умеют же на равных говорить с «обстоятельствами», с «веками и мирозданием»?

Умеют, ибо на то им язык дан. Язык народной традиции прежде всего. С конкретными социологическими или экономическими «проклятыми» проблемами новейшей истории справлялся он не всегда: похоронное шествие Едигея или затопление Матёры тому свидетельство. И все же в самых горьких ситуациях, под прессом самых безысходных «обстоятельств» можно было на этом языке сказать о жизни, смерти, бессмертии. О смысле всего сущего и твоего личного существования.

Когда, уединившись в волжской деревне, создавал Киреев свою повесть о Рае Шептуновой, бабка-хозяйка все изумлялась: что за каторга такая — сидеть ежедневно за столом и бумагу исчеркивать? И божилась: да ни за какие сокровища она бы за этакое не взялась... Эпизод этот сам Киреев вспоминает в беседах с полугрустной усмешкой. Не оттого ли грусть, что у волжской-то старушки язык для разговора с белым светом был. Хотя бы язык фольклорный: песню на нем споешь, сказку мальчикам расскажешь, притчу или присловье приведешь — вот душа и выговоришься. И молитва, исповедь Едигея или старухи Дарьи ту же роль играла — не «перевитка», а карты бытийной. На которой самое что ни есть заброшенное селенье, самая растерявшаяся в повседневном сумбуре душа находили место свое и меру. Себя проверяли, соотнося с масштабами тысячелетий.

То есть в этом тоже была их история, каковая и немислима без бытия, не просто быта. Если у светопольцев киреевских усыхали язык и ощущение истории, так оттого, кроме прочего, что и до бытия им добраться было некогда: поденка завертела.

Но есть же заповедная черта, на которой от встречи лицом к лицу с бытием не отвертеться? Человек, слава богу, живет один раз и умирает. (Жутко представить, как размотал бы, растранижил он себя, даруй ему природа на земле персональное бессмертие.) Умирают ведь и киреевские подопечные на страницах его книг?

Случается. В повести «Посещение» это составляет даже основной сюжет: как проводит последние дни бывший диспетчер таксопарка, бывший солдат (с неизлечимым туберкулезом после ранения), а ныне хо-

дкий скелет — приговоренный к смерти Сомов. Здесь все негромкое сопротивление «обстоятельствам», весь злой барачный оптимизм в фокусе сошлись.

И что же? Успеваеет Сомов многое. И таксистов своих, на волю вырвавшись, навещать; и старую, несложившуюся любовь, Индустрию-Инду, согреть прощальной вспышкой тепла; и в бильярд сыграть; а главное — внучке, лучику своему в распотрошенной неурядицами семье, куклу купить. И мы его полюбить успеваем горестной любовью-жалостью. А потом привозит его «скорая» назад, в больницу, к палатной медсестре. И не в силах уже двинуться, в одном только меркнувшем воображении проводит он мысленно ладонью «по восхитительному женскому заду». Точка.

Кому как, а мне страшно. Не комично, не печально, не ухмыльно — страшно. По профессиональной привычке критика отмечаю ласковую, психологически неопровержимую беспощадность прозаика к своему персонажу, а думаю не о персонаже — о человеке. До чего же должна была сплющиться, обузиться, ампутироваться его душа, чтобы так выходить на последний свой рубеж.

Вина это все же или беда? И то и другое. В среднем, конкретно-историческом, конкретно-географическом, конкретно-социологическом масштабе — скорее всего беда. Человек — продукт своей среды, утверждают ученые. Вся немислимая (и, однако же, зримо нам явленная) дистанция между человеком, каким он мог бы стать в лучшем своем проявлении, и человеком, каков он есть при духовной безопорности, — вот она: Сомов. Вот какие историйки подбрасывает безбытийность, «безысторичность».

Но полно: продукт ли только человек? Не среда ли в равной мере его продукт? Культ и застой несут вину за светопольцев, однако вдумаясь: экономика вынуждена была в застое «стоять», общественные отношения — тоже, но каждая отдельная биография человеческая стоять попросту не может. Другой биографии не будет. Что сделано (а еще важнее: что не сделано, не выстрадано, не выстроено в тебе самом), того не воротить. И никакие ссылки на застой ничего взамен в тебе не сотворят. Поэтому в большом масштабе ни среда, ни обстоятельства не отменяют вины человека перед собою как «частичкой бытия» (А. С. Пушкин).

Если даже смерть не обращает его к этой древней, краеугольной мысли, то есть

и другое универсальное напоминание — дети.

В киреевской Светландии дети, подростки, юные сыновья и дочери исполняют особую функцию: ими киреевский мир испытывается. Как бы далеко ни отошел этот мир от народно-эпического жизнеощущения, дети — последний эпос Светополя. А на фоне сносимых бараков и тающих воспоминаний, вероятно, уже последнее прибежище и автора. Но дети — это и его категорический императив.

С детьми, взрослеющими детьми, героирассказчики светопольских повестей сами возвращаются в детство. Упаси бог предположить под этим идилию: как раз наоборот. С детьми они возвращаются в возраст (и состояние бытия), когда от больших вопросов некуда деться. Когда только они и есть настоящие вопросы. Выращиваем аквариумных рыбок — и решаем проблему сосуществования со злом. Недобираем двух баллов в институт — и ставим вопрос о «маленьком человеке», маленьком таланте в огромном жизнестрое. Обмениваем марки — и воюем за любовь, и утрачиваем любовь, оставаясь в безжизненном житье-бытье. И каждый день, каждый шаг все поставлено не «на глобус» даже — на Космос, даром что не покидая провинциального Светополя и даже одного светопольского двора.

Эти нефигуральные дети баракров (коммуналок, многоэтажек-«хрущоб» и т. д. — сообразно времени действия) не признают ни барачных «обстоятельств», ни застойного забвения, когда вся история словно бы впадала в анабиоз. У этих маленькие ответы на большие вопросы мироздания вообще не котируются. Дети попросту не понимают, как можно человеку жить маленьким «амбивалентным» героем, отрекшимся от обязанностей царевича-воителя и скромно не мерзкопакопачничающим на своем скромном житейском участке, — и это когда есть Василиса Премудрая, с одной стороны, Кошечей Бессмертной, с другой?..

Запинки в речи, краска в лице, автоирония и самосуд — все это появляется у киреевских героев именно в эпизодах с детьми. Как только возникает страх утраты — уйдут дети! Вот-вот уйдут, замкнутся от тебя. Самое же пугающее — если удалятся они не от взрослых, а во взрослые, подставляя герою его же собственное отражение. Не желает даже влиятельный в

гастрономических кругах Светополя Аристарх Иванович (повесть «Приговор») увидеть сына «достойным» своим продолжателем.

«Юность — это возмездие». Слова, которые Блок вынес эпитафией к поэме о родине на переломе времен. Юность нынешних 80-х узнала то, чего не знали «отцы», — в том числе касающееся провинции. Она увидела провинциальный Чернобыль, провинциальный Сумгаит, провинциальный Арзамас. Юность стала свидетельницей не только того, во что обходится провинция история (хотя бы временный обморок истории), но еще и того, во сколько обходится истории провинция. И экономическая. И социологическая. И — первопричина всех причин — обуженность, «глухомань» духовная.

Этого юность уже не сможет забыть.

Впрочем, «амбивалентные» герои, за которых досталось Кирееву от критики, забеспокоили и его самого. «Убывание героя» — так назвал он недавнюю статью и явление, в ней исследуемое («Вопросы литературы», 1986, № 7). Он, правда, еще обороняется: «Но ведь и во многих других книгах, причем книгах талантливых, герой предпочитает оставаться на некоей нейтральной полосе. Шаг в одну сторону, шаг в другую...» Он еще отстаивает философию «сдержанности» в добре: «мир ныне слишком хрупок... чтобы по нему могли безназорно странствовать шальные рыцари. Ветряных мельниц нет больше».

Это верно. Мельниц больше нет. Есть четвертый блок Чернобыльской АЭС. И есть юность, глядящая на нас со смешанным выражением язвительного неверия, отчаянного поиска веры, непрощающего спроса. Взгляд этот киреевские взрослые чувствуют кожей: честности у них, как и у автора, не отнимешь.

Сборник озаглавлен прощально, однако в прощании со Светополем проскальзывает нотка неуверенности: может, придется еще свидетельствовать? Думаю, придется. Думаю, автор искренне заблуждался, полагая, что сборником своим подводит черту. Все только начинается. Логика истории, спрос бытия, оклик души еще заставят автора обернуться к себе и вернуться к своим светопольцам.

Марина НОВИКОВА.

Симферополь.